

Политика памяти

УДК-323(470+571)

DOI: 10.17072/2218-1067-2018-1-75-91

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ФРЕЙМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ (НА ПРИМЕРЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ)¹

О. Ю. Малинова²

Историю принято рассматривать в качестве фактора, формирующего стратегическую культуру, и источника для ее изучения. Однако восприятие угроз безопасности формируется не «историей» как объективной аналитической реконструкцией событий прошлого, а социально разделяемыми представлениями о нем. В статье предлагается теоретическая модель для анализа связи между историей и стратегической культурой, основанная на концепции фреймов коллективной памяти. На примере дискурса российской правящей элиты прослеживается связь между менявшимися представлениями об «уроках истории» СССР и России в 1990-х гг. и восприятием угроз безопасности.

Ключевые слова: фрейм; фреймирование; коллективная память; стратегическая культура; угрозы безопасности; политический дискурс; «холодная война».

Конец «холодной войны» и последующая трансформация мировой политической системы способствовали развитию новых методологических подходов в исследованиях международных отношений. Культурализм, оформившийся на рубеже 1990–2000-х гг., рассматривается его приверженцами в качестве важного дополнения доминирующих парадигм – неореализма и неолиберализма. Как известно, неореализм объясняет функционирование международной системы распределением материальных ресурсов в условиях анархии, тогда как неолиберализм сосредоточен на изучении институтов, задающих структурный контекст, в котором государства определяют свои интересы и координируют свою политику. Культуралисты же полагают,

¹ Исследование проводится в рамках проекта «Конструирование смысловых рамок коллективной памяти в политическом дискурсе: “лихие девяностые” vs. “стабильные нулевые”» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 17-03-00322.

² Малинова Ольга Юрьевна – доктор философских наук, профессор, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. E-mail: omalinova@hse.ru.

© Малинова О.Ю., 2018

что во многих случаях связь между структурами и поведением акторов не может быть понята без учета вмешивающихся культурных переменных – особенностей восприятия угроз, сложившихся представлений об основаниях и способах использования силы, специфики идентификации Нас и Других, моделей реакции на вызовы безопасности и тому подобных коллективно разделяемых представлений и установок. Усилия сторонников данного подхода сосредоточены на разработке методов, позволяющих учитывать влияние культурных переменных. При этом речь идет скорее о наборе подходов, имеющих общие методологические посылки, нежели о единой теории.

Концепт стратегической культуры – пожалуй, наиболее активно используемый в рамках данного подхода. Термин был предложен в 1977 г. Джеком Шнайдером в контексте анализа перспектив использования ядерного оружия СССР. Согласно определению автора, *стратегическая культура* – это «общая сумма идей, эмоциональных реакций и привычных моделей поведения в отношении ядерной стратегии, приобретённых путем обучения или подражания, и разделяемых членами национального стратегического сообщества» [40, 8]. Стратегическая культура направляет политические выборы, задавая обстоятельства, в которых они совершаются, но не предопределяет их однозначно.

Первые работы о стратегических культурах обоснованно критиковали за недостаточную определенность. Действительно, эта концепция пыталась объяснить поведение государств на международной арене с помощью широкого набора факторов, формирующих культуру (география, история, национальный характер, идеология, организационная культура элиты и др.), что делало ее избыточно амбициозной и в то же время недостаточно конкретной. В дальнейшем понятие стратегической культуры пытались уточнять и операционализировать, причем не только в логике позитивистского мейнстрима [24], но и в рамках интерпретирующей парадигмы [30]. Это позволило более продуктивно использовать его в эмпирических исследованиях. Однако не все теоретические проблемы нашли удовлетворительное решение. Одной из нерешенных проблем является концептуализация истории как фактора, влияющего на стратегическое поведение. На мой взгляд, оптимальный способ ее решения может быть найден с помощью наработок исследований социальной памяти, и в частности – концепции фреймов коллективной памяти [25]. В настоящей статье я попытаюсь продемонстрировать возможности такого подхода, проиллюстрировав его на примере дискурса российской политической элиты.

**«Уроки истории» как фактор стратегической культуры:
проблема механизма причинной связи**

Вне зависимости от того, понимаем ли мы культуру как набор идей, ориентаций и привычек, влияющих на поведенческие выборы [23] или набор ментальных инструментов, позволяющих осмысливать реальность [30], история оказывается обязательной составляющей данного подхода. Культуралисты утверждают, что «бремя исторического опыта и исторически сформированные стратегические предпочтения ограничивают реакции на изменения «объективной» стратегической среды, уникальным образом влияя на стратегические выборы» [24, 34]. Представление о том, что «силы истории движут нации вперед, а географические препятствия придают им форму» [29, 37], разделяют не только культуралисты, но и некоторые институционалисты. Это утверждение кажется интуитивно правдоподобным. Однако его эмпирическое обоснование сталкивается с проблемой выявления *механизмов причинной связи* между историей как совокупностью событий, явлений, процессов, имевших место *в прошлом* и восприятием угроз безопасности *в настоящем*. В литературе о стратегических культурах можно обнаружить различные предположения на этот счет.

Во-первых, имеется *структуралистское объяснение*, рассматривающее ранний опыт государства как фактор, формирующий устойчивые паттерны реакций на угрозы безопасности, возникающие в определенном геополитическом контексте [напр. 23]. Однако такой подход грешит детерминизмом и фактически превращает историю в ретроспективную геополитику. Кроме того, предполагается, что тот же механизм работает и в случае «универсальных» моделей выживания «вестфальских» наций-государств в меняющейся международной среде [28, 13]. В таком случае непонятно, как различать формирующий опыт, универсальный для всех наций-государств и специфический для каждого из них в отдельности. Представляется, что на уровне общей теории эта задача не имеет удовлетворительного решения. Зависимость поведения от сложившейся структуры отношений, на наш взгляд, продуктивнее исследовать в индуктивной логике исторического институционализма [41].

Во-вторых, существует *акторный подход*, который делает упор на извлечении из истории уроков. Американский политолог Колин Грей полагает, что обоснование связи между историей и стратегической культурой может опираться на три посылаки: 1) у каждого государства своя история; 2) каждое государство извлекает правильные или неправильные уроки из оценок этого уникального опыта; 3) с большой вероятностью уроки государственной политики, извлекаемые из разного опыта, окажутся разными [21].

В уточненном варианте данного подхода утверждается, что изучением уроков истории занимаются не государства, а политические лидеры и элиты [22, 277]. При этом некоторые авторы подчеркивают, что нужно учитывать интерпретации, предлагаемые разными группами в обществе [20, 328]. Таким образом, извлечение уроков истории рассматривается как дискурсивный процесс, который можно реконструировать с помощью эмпирического исследования конкурирующих дискурсов. Этот вариант теории уроков представляется более обоснованным. Однако если всерьез принимать предлагаемое им объяснение, следует признать, что в действительности мы имеем здесь дело не с историей, но с разделяемыми представлениями о коллективном прошлом, которые формируются, обсуждаются и трансформируются в определенных контекстах.

Если так, то исследователи стратегических культур сталкиваются с методологической проблемой, которая хорошо известна специалистам, изучающим социальную память: как пройти между Сциллой эссенциализма и Харибдой презентизма? По определению американского социолога Джеффри Олика, «с одной стороны, эссенциализм предполагает, что память и образы прошлого должны пониматься как выражения исторической структуры, которая становится реальностью... С другой стороны, презентизм утверждает, что память и образы прошлого производятся в настоящем и для целей настоящего. Таким образом, они отражают не то, что случилось в прошлом и влияет на настоящее, а структуры интересов и потребностей настоящего» [32, 7–8]. В качестве решения этой проблемы Олик предлагает изучать «способы, которыми образы прошлого меняются или остаются прежними, и причины, по которым это происходит» [32, 8].

На мой взгляд, этот рецепт может быть полезен и для концептуализации механизмов, опосредующих связь между «историей» и восприятием угроз безопасности стратегическими элитами. Недостаточно сказать, что прошлое «объясняет» настоящее просто в силу последовательности. Одновременно нельзя не замечать, что история как дискурсивный конструкт участвует в наших рассуждениях о политике безопасности. Таким образом, чтобы понять связь между историей и политикой безопасности, нужно сосредоточиться на изучении разделяемых представлений о прошлом, которые легитимируют то или иное понимание проблем безопасности. Именно это отношение описывает понятие стратегической культуры.

Оно имеет много разных интерпретаций. Для целей моего анализа наиболее продуктивной будет концептуализация, предложенная американским политологом Брэдли С. Клейном. Он рассматривает стратегическую культуру в связи с «политическим производством гегемонии» (понимаемой в духе концепции Антонио Грамши). Согласно его концепции, «стратегическая культура... включает распространенные ориентации относительно насилия и

способов, которыми государство может легитимно использовать насилие против предполагаемых врагов. В этом смысле популярные репрезентации насилия и «врагов», против которых оно может легитимно применяться, становятся значимыми артефактами, поскольку они *делают правдоподобным определенный спектр идентичностей и вместе с тем исключают другие идентичности как невозможные и невысказанные* (выделено мною – О.М.). Изучать стратегическую культуру – значит изучать культурную гегемонию организованного государственного насилия» [26, 136].

Таким образом, *стратегическую культуру* можно рассматривать как культурную гегемонию, которая поддерживает или затрудняет определенные способы видения проблем безопасности, будучи в то же время предметом постоянного оспаривания в меняющемся социальном контексте. Политические элиты, участвующие в этой борьбе, вынуждены принимать во внимание наличную конфигурацию «популярных репрезентаций». Но в то же время они пытаются на нее влиять. Иными словами, имеет место диалектический баланс между стремлением манипулировать и необходимостью приспособляться к массовым настроениям, чтобы добиться легитимации. В рамках данной теоретической конструкции стратегическую культуру следует рассматривать не в логике причинности, как независимую переменную, а в качестве конституирующего условия для формирования определенных паттернов принятия решений.

Понимаемая таким образом стратегическая культура является продуктом истории одновременно в двух отношениях. С одной стороны, набор «популярных репрезентаций» опирается на сложившуюся систему социальных институтов, которые формировались во времени и несут на себе следы исторического опыта. С другой стороны, этот опыт представлен в виде эмоционально окрашенных идей, образов и представлений о прошлом, образующих репертуар символических ресурсов, к которому в своих рассуждениях о политике безопасности апеллируют и представители элиты, и простые граждане.

То, каким образом такие представления актуализируются в процессе принятия решений, хорошо описывается с помощью теории *фреймов коллективной памяти* (точнее – коллективного вспоминания, ибо фреймирование представляет собой динамический процесс). Понятие фреймов было введено в научный оборот И. Гофманом [6] для изучения влияния коллективно разделяемых когнитивных моделей на восприятие индивидами социальных ситуаций и их поведение. На основе идей Гофмана канадский социолог Ивона Ирвин-Зарецка разработала теорию фреймов памяти (*frames of remembrance*), которую предлагает в качестве инструмента анализа диалектической связи между публичным (репертуаром идей, образов и представлений) и частным (осмысливанием социальной реальности отдельными индивидами, опирающимися на общедоступный репертуар). Основным постулатом данного подхода является признание того, что интерпретация реальности направляет-

ся шаблонами, на основе которых мы определяем конкретную ситуацию (фреймами). По мысли Ирвин-Зарецки, исследуя процесс фреймирования, мы «не ставим целью закрепить то или иное «прочтение» в качестве правильного; скорее, пытаемся установить спектр релевантных значений», приписываемых ситуации [25, 4–5]. В этом отличие данного подхода от более традиционного исследования публичных дискурсов о прошлом: он не просто описывает и анализирует представленные в нем нарративы, но стремится выявить спектр интерпретаций, которые в данном контексте воспринимаются как «правдоподобные» и задают смысловые рамки социальных практик. Исследователь фреймов коллективной памяти задается вопросом: каким образом (для кого, когда, где и почему) прошлое имеет значение? По Ирвин-Зарецки, такой подход требует сочетания анализа текстов и социальных практик обращения к прошлому (в нашем случае – в контексте выработки и обоснования политических решений) [25, 14].

Следуя данной логике, опору на «уроки истории» при обсуждении проблем национальной безопасности можно рассматривать в качестве одного из способов конструирования «реальности прошлого». Хотя ссылки на такие «уроки» часто используются в качестве «объективных» аргументов, осмысление прошлого для нужд настоящего (по точному английскому выражению, *making sense of the past*) – всегда результат селекции и интерпретации. Фреймирование восприятия современных угроз безопасности опытом прошлого происходит на основе представлений группы (в нашем случае – лиц, принимающих стратегические решения в области безопасности) о том, какой исторический опыт релевантен нынешней ситуации и какие «уроки» из него следует извлечь.

В следующем разделе я проиллюстрирую эвристические возможности представленной выше теоретической модели на российском примере. Я попытаюсь показать связь между изменением официального исторического нарратива, отражавшего представления правящей элиты о недавнем прошлом, и восприятием проблем национальной безопасности. Не претендуя на систематический анализ российской стратегической культуры, я сосредоточусь на моментах трансформации дискурса безопасности в 1990-х и в начале 2000-х гг., поскольку именно они представляют наибольший интерес в данном контексте.

1990-е годы: легитимация российской политики безопасности по контрасту с советскими практиками

Можно выделить два больших периода в эволюции исторического нарратива российской властвующей элиты, которые в целом совпадают с президентством Б. Н. Ельцина и В. В. Путина – Д. А. Медведева, однако имеют

внутри себя подэтапы (корректировка курса в середине 1990-х гг., оформление путинского нарратива к середине 2000-х гг., попытки связывания эклектического нарратива и переход к «наступательной» исторической политике в 2010-х гг.) [подробнее см. 12].

В 1990-х гг. Ельцин и его команда использовали для легитимации своего политического курса исторический нарратив, противопоставлявший «старую» Россию образца СССР и империи Романовых «новой», «демократической России». Этот нарратив опирался на концепт «тоталитаризма», отражавший логику смысловых оппозиций времен «Холодной войны». Данный концепт играл важную роль в переосмыслении новейшей истории в годы перестройки [39]. Как я попытаюсь показать, критическое отрицание советского наследия и мышление бинарными оппозициями, сложившимися в предыдущий период, существенно определяло восприятие угроз безопасности властвующей элитой почти до конца 1990-х гг.

Принципы легитимации российской политики безопасности и внешней политики опирались на фреймы коллективной памяти, заданные именно таким пониманием недавнего прошлого. Это хорошо прослеживается в текстах посланий президента Федеральному собранию и других документах, обосновавших текущий политический курс. Идея о том, что *Россия – не Советский Союз*, красной нитью проходила через выступления Ельцина. Основные аргументы на этот счет можно суммировать следующим образом:

- *Россия сделала выбор в пользу демократии, свободы и верховенства права* («Коммунистический эксперимент закончился, и не было такой силы, которая могла бы повернуть время вспять» [3]; в 1990-х гг. Россия вернулась «на магистральный путь мирового развития [5]).
- Это коренным образом меняет идентичность России в международной системе координат: *принимая ценности Запада, она становится его партнером* («Новый характер связей с Западом открывает благоприятные возможности для более эффективной реализации интересов России в области безопасности, экономики, торговли, бизнеса» [1]; важно «развивать доверительные отношения, сложившиеся с большинством западно-европейских государств» [2] и т.п.).
- В России действуют *иные принципы взаимоотношений личности и государства*, нежели в СССР – происходит «восстановление естественных пропорций общественного и индивидуального» [1]. Это, в свою очередь, ведет к изменению приоритетов: ставя во главу угла интересы граждан, новая Россия не может, подобно СССР, тратить ресурсы на «внешнеполитические и военные авантюры» [1].
- В отличие от СССР, *Россия – не империя*: 1) она отвергает «командный принцип» взаимоотношений центра и регионов и «жестко централизо-

ванное управление» [2], 2) не стремится вернуть утраченные территории, хотя и готова заботиться о правах соотечественников в бывших советских республиках. В 1997 г., когда Ельцин впервые затронул в послании Федеральному собранию тему защиты прав соотечественников, он специально оговорился: «Позиция России в этом вопросе – не прикрытие каких-то имперских устремлений» [4].

Ельцин и его соратники достаточно последовательно воспроизводили этот набор «уроков» недавней истории в качестве аргументов, объясняющих проводимый ими политический курс. С учетом этого можно говорить о дискурсивном конструировании фреймов, которые на определенном этапе разделялись не только правящей элитой, но и некоторой частью граждан, т.е. были предметом *культурной гегемонии*. Такое понимание «уроков прошлого», с одной стороны, способствовало формированию определенного восприятия угроз национальной безопасности, а с другой стороны – служило инструментом легитимации политического курса.

С завершением «холодной войны» Запад перестал рассматриваться в качестве потенциального врага. В Концепции национальной безопасности, принятой в 1997 г., основной причиной возникновения угроз безопасности называлось «кризисное состояние экономики». Наиболее серьезной внешнеполитической угрозой представлялась перспектива «возникновения или обострения в государствах – участниках Содружества Независимых Государств политических, этнических, экономических кризисов, способных затормозить или разрушить процесс интеграции». Применительно же к оборонной сфере на основании «глубоких изменений в характере отношений Российской Федерации с другими ведущими державами» делался вывод, что «угроза крупномасштабной агрессии против России в обозримом будущем практически отсутствует» [7]. Хотя Ельцин обвинял западных партнеров в двойных стандартах в подходах к урегулированию конфликтов на территории СНГ [2], он никогда не говорил о них как о соперниках, разжигающих эти конфликты (как это позже будет делать Путин).

Рассуждая в логике фрейма противопоставления «старой» и «новой» России, представители ельцинской элиты оказывались видеть преемственность проблематики безопасности по отношению к прежнему периоду. Прежние подходы объявлялись априори ошибочными, основанными на «тоталитарной государственной идеологии». Как Ельцин заявил в своем первом послании Федеральному собранию, теперь на смену этой идеологии приходит «понимание реальностей современного мира и места России в нем» [1].

Отвергая великодержавные амбиции СССР и признавая отсутствие былых ресурсов, Ельцин и его окружение были, тем не менее, убеждены, что Россия должна принимать «участие в строительстве большой Европы, мир-

ной, единой, демократической» [1, 7]. Не имея возможности подкреплять отношения со странами Восточной Европы ресурсами, российская правящая элита уповала на «традиционные связи», которые перевесят «старые обиды» [1, 5]. В президентских посланиях систематически подчеркивалась роль России в урегулировании военных и политических конфликтов в бывшей Югославии, Иране, на ближнем Востоке и странах СНГ, что должно было служить подтверждением высокого международного статуса. Признавая относительную экономическую и военную слабость России, Ельцин неизменно выражал уверенность, что «огромный научный, духовный и оборонный потенциал» позволит ей занять достойное место в мире [5].

Несоответствие реальности этим ожиданиям – расширение НАТО, продемонстрировавшее стремление Запада строить «большую Европу» без участия России, очевидное сокращение ее влияния в традиционных «зонах интересов», военная интервенция в Косово и т. п. – все это стало причиной распада культурной гегемонии, на которой покоилась ельцинская концепция безопасности. В 1999 г., после бомбардировок Косово, Совет безопасности разработал новый вариант Концепции, в котором прежние установки относительно формирования многополярного мира [7] заменялись тезисом о противоборстве тенденций многополярности и однополярности, т.е. «попыток создания структуры международных отношений, основанной на доминировании в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве США» [8]. Этот вариант лег в основу новой Концепции национальной безопасности, принятой в 2000 г. указом президента В. В. Путина [9].

С ретроспективной точки зрения нельзя не признать, что стратегия безопасности правящей элиты 1990-х гг. была нереалистичной. Вера в то, что отказ от советского «тоталитарного» и имперского наследия автоматически открывает путь к «доверительному партнерству» со странами Запада, а «традиционные связи» гарантируют развитие отношений с Восточной Европой и постсоветскими странами, в условиях недостатка ресурсов не оправдалась. Следует, однако, подчеркнуть, что заблуждение было «добросовестным». Внешняя политика 1990-х гг. основывалась на «извлечении уроков» из недавней истории, она опиралась на представления, которые на каком-то этапе – в период перестройки и начала реформ – разделяла значительная часть российского общества. В дальнейшем эйфорические ожидания уступили место ностальгии по былой «стабильности» и идеологической определенности, обеспечивавшей коллективное самоуважение. В меняющемся контексте идеи, которые продолжала артикулировать правящая элита, больше не обеспечивали ей культурную гегемонию.

**2000-е годы: новая внешняя политика и практики
политического использования прошлого**

Это отчасти объясняет быстрый рост популярности В. В. Путина: с его приходом к власти стал меняться не только политический курс, но и подход к использованию прошлого для его легитимации. Смысловым стержнем путинского исторического нарратива стала проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России идея великодержавности. Именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) стало выступать в качестве ключевой ценности, скрепляющей современную российскую идентичность.

Новая интерпретация прошлого оформлялась постепенно. В первые годы пребывания у власти Путин продолжал придерживаться ельцинского принципа противопоставления «старой» и «новой» России. Однако уже тогда в его дискурсе появились новые элементы. С точки зрения интересующей нас политики безопасности, наиболее примечательной символической новацией был концепт *«сильного государства»* [обстоятельный анализ см. 13]. В своем первом послании Федеральному собранию Путин заявил, что «единственным... для России реальным выбором может быть выбор сильной страны. *Сильной и уверенной в себе*. Сильной – не вопреки мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с ними (выделено мною. – *О. М.*)». Позже слово *«assertiveness»* (напористость, самоуверенность) будет использоваться многими зарубежными исследователями для характеристики внешней политики Путина [27; 31; 42 и др.]. Идеологема «сильного государства» проецировалась и на внутреннюю, и на внешнюю политику. В первом случае она подразумевала повышение эффективности государственной машины за счет ее централизации. Во втором – легитимировала борьбу за статус на международной арене в качестве цели внешней политики, что было некоторым отступлением от риторики 1990-х гг., которая декларировала приоритет «интересов личности».

Примечательно, что в тексте послания 2000 г. за пассажем о «сильном государстве» следовала фраза: «Сегодня, когда мы идем вперед, важнее не вспоминать прошлое, а смотреть в будущее» [14]. Принимая во внимание вынужденную лояльность Путина его предшественнику, в этом заявлении можно увидеть утверждение новой стратегии без прямой критики старой. Лишь после повторного избрания в 2004 г. Путин стал позволять себе более резкие критические оценки политики 1990-х гг. Тем не менее, уже в начале 2000-х гг. он стремился легитимировать собственный политический курс по контрасту с предшествующим периодом [11, 144–149]. Образ «сильной России» связывался с настоящим и будущим, «слабость», вынуждавшая «опираться на чужие советы» – с прошлым [14].

Примером подобной практики может служить и определение политики 2000-х гг. с помощью концепта *«стабильность»*. Уже в 2001 г., характеризуя первые достижения своего правления, Путин прибегал к сравнению: «Прошедшее десятилетие для России было *бурным*, можно сказать без всякого преувеличения – *революционным*. 2000 и начало 2001 гг. на его фоне кажутся относительно *спокойными* (выделено мною. – О. М.)». Развивая это наблюдение, Путин рассуждал о том, что страх перемен имеет под собой исторические основания («за революцией обычно следует контрреволюция...»), и заключал: «Пора твердо сказать: этот цикл закончен, не будет ни революций, ни контрреволюций. Прочная и экономически обоснованная государственная *стабильность* является благом для России и для ее людей, и давно пора учиться жить в этой нормальной человеческой логике (выделено мною. – О. М.)» [15]. Нетрудно заметить, что позитивный образ настоящего («спокойного», «стабильного», «нормального») конструируется здесь через противопоставление негативному опыту 1990-х гг. («бурному», «революционному», «непредсказуемому»).

Новые принципы построения официального исторического нарратива оформились к середине первого президентского срока Путина. В конце 2002 г. он заявил в выступлении по случаю Дня Конституции: «Вот уже более десяти лет мы произносим ставшие привычными слова «новая Россия». Но если вдуматься, то мы так говорим о стране с тысячелетней историей...» [16]. Пятью месяцами позже в послании Федеральному собранию Путин назвал «поистине историческим подвигом» граждан России «удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире...» [17]. На смену ельцинскому нарративу о «новой России» пришла концепция «тысячелетней России», сложившейся в великое государство, способное завоевать «сильные позиции в мире».

Это означало переоценку *имперского наследия*, к которому правящая элита 1990-х гг. относилась однозначно негативно. Путин никогда прямо не поддерживал рассуждения о возрождении империи, которые с конца 1990-х гг. пользовались заметной популярностью в различных сегментах российского идеологического спектра. Однако многие его высказывания перекликались с идеями других участников дискуссии об имперском наследии, в силу чего прочитывались заинтересованными комментаторами как знак поддержки той или иной стороны [10, гл. 11]. Следы имперских архетипов можно обнаружить в путинских рассуждениях о «сильном государстве» [17], о «вертикали власти», о «цивилизаторской миссии российской нации на евразийском континенте» [18], в его оценках цветных революций 2003–2005 гг. и др.

Большой общественный резонанс имели и высказывания второго президента РФ о *самобытности* российского пути. Актуальная со времен славынофилов и западников, эта тема не раз поднималась и Ельциным [3; 5]. Однако в контексте противопоставления «слабого» и «сильного» государства она приобретала иное звучание. Согласно путинской формулировке, «долгое время мы выбирали: опереться на чужие советы, помощь и кредиты или – развиваться с опорой на нашу самобытность, на собственные силы... Но это выбор слабого государства» [14]. В этих словах можно увидеть наметки будущей доктрины *суверенной демократии*, согласно которой Россия «выбрала для себя демократию волей собственного народа», что дает ей право «самой решать», каким образом обеспечивать реализацию принципов свободы и демократии, не признавая монопольное право Запада на их интерпретацию [18]. Эта доктрина утверждала принципиально новую модель самоидентификации России по отношению к Западному Другому. Эта модель сочетала представление об общности целей и ценностей России и «Запада», свойственное дискурсу 1990-х гг., с «почвенническим» акцентом на самобытный способ их реализации, при этом она представляла Россию как актуально (а не только потенциально) подобную и равную Западному Другому и даже способную служить ему образцом в осуществлении общих ценностей [см. 10, гл. 13].

Пожалуй, наиболее резко разрыв с ельцинским пониманием «уроков истории» обозначился в 2005 г., когда переизбранный на второй срок Путин включил в свое послание Федеральному собранию известные слова *о распаде СССР как «крупнейшей геополитической катастрофе века»* [18]. Интерпретация распада СССР (который де-факто был актом рождения нового Российского государства) как случайной катастрофы, спровоцированной действиями злонамеренных политиков, прекрасно вписывалась в концепцию «тысячелетней» великой державы. Однако она полностью противоречила ельцинскому нарративу, который представлял крах «тоталитарного» коммунистического режима как историческую необходимость, а выбор 1990-х гг. – как возвращение на «путь цивилизации».

Это никоим образом не означало тотальной «реабилитации» советского наследия. Наиболее ценным его элементом была память о великой державе, которая, несмотря на все трудности, смогла осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Но Путин, а затем Медведев не раз говорили о цене, которую пришлось заплатить за эти успехи. Важным «уроком», который правящая элита 2000-х гг. выносила из опыта СССР, было понимание недостатков советского способа модернизации и советской политики безопасности. В 2006 г., рассуждая о диспропорции военного бюджета России и США и об угрозах, связанных с однополярностью, Путин говорил: «...понимая остроту этой про-

блемы, мы не должны повторять ошибок Советского Союза, ошибок эпохи «холодной войны» – ни в политике, ни в оборонной стратегии. Не должны решать вопросы военного строительства в ущерб задачам развития экономики и социальной сферы. Это тупиковый путь, ведущий к истощению ресурсов страны» [19]. Утверждая внешнеполитическую «настойчивость» / «самоуверенность» в стиле СССР и легитимируя борьбу за международный статус в качестве цели внешней политики, политическая элита 2000-х гг. в полной мере разделяла со своими предшественниками представление о том, что политика прямой конфронтации с Западом ведет к разрушительным последствиям.

Таким образом, в первой половине 2000-х гг. оформилась новая культурная гегемония, которая опиралась на принципиально иное понимание «уроков истории». Источником мудрости теперь уже служил опыт не только СССР, но и России в 1990-х гг. Хотя формально никто не ставил под сомнение заявленные в 1990-х гг. принципы соотношения интересов личности и государства, провозглашение последнего ценностью, скрепляющей во времени и пространстве макрополитическое сообщество, означало де-факто смену приоритетов. Новые идеологемы конструировались по контрасту с опытом 1990-х гг.: «сильное» государство противопоставлялось «слабому», вновь обретенная «стабильность» – «революционной» неопределенности, внешнеполитическая «самостоятельность» – необходимости опираться на «чужие советы и кредиты». Провозглашение ценности «сильного государства» и признание борьбы за международный статус в качестве важнейшей цели способствовали пересмотру критического отношения к имперскому опыту, которое было характерно для предыдущего периода. В дискурсе правящей элиты 2000-х гг. Россия стала позиционироваться как страна, разделяющая ценности «Западного Другого», но имеющая собственное представление о том, как их надлежит реализовывать. Эти и другие установки были результатом реинтерпретации исторического опыта в меняющемся политическом контексте. Они послужили когнитивным основанием для новой, «самоуверенной» внешней политики, которая стала возможна в условиях благоприятной экономической (рост цен на энергоносители) и политической (война с терроризмом) конъюнктуры.

Библиографический список

1. *Ельцин Б. Н.* Об укреплении государства: послание президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию Российской Федерации [Yeltsin B. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation „On the Strengthening of the State”]. 1994. URL: <http://www.intelros.ru/2007/>

- 02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html (дата обращения: 18.01.2018).
2. *Ельцин Б. Н.* О действенности государственной власти: послание президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию Российской Федерации [Yeltsin B. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation ss „On the Effectiveness of the State Power”] 1995. URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejstvennosti_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_1995_god.html (дата обращения: 18.01.2018).
 3. *Ельцин Б. Н.* Россия за которую мы в ответе: послание президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию Российской Федерации [Yeltsin B. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation „Russia, Which We are Responsible for] 1996. URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html (дата обращения: 18.01.2018).
 4. *Ельцин Б. Н.* Порядок во власти – порядок в стране: послание президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию Российской Федерации [Yeltsin B. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation ”The Order in Power – the Order in the Country”] 1997. URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_porjadok_vo_vlasti_porjadok_v_strane_1997_god.html (дата обращения: 18.01.2018).
 5. *Ельцин Б. Н.* Россия на рубеже эпох: послание президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию Российской Федерации [Yeltsin B. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation „Russia on the Threshold of Epochs”] 1999. URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_na_rubezhe_jepokh_1999_god.html (дата обращения: 18.01.2018).
 6. *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта [Goffman I. Frame analysis: An essay on the organization of experience]. М.: Институт социологии РАН; Институт Фонда «Общественное мнение», 2004.
 7. Концепция национальной безопасности Российской Федерации [The Conception of the State Security of Russian Federation] // Красная звезда. 1997. 27 дек. № 300–301.
 8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации в редакции 29.10.1999 [The Conception of the State Security of Russian Federation, the version of 29.10.1999]. URL: <https://flot.com/nowadays/concept/concept-doc1/index.htm> (дата обращения: 18.01.2018).
 9. О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 10.01.2000 г. № 24 [About the [The Conception of the State Security of Russian Federation. The Order of the President of

- Russian Federation, 10.01.2000. № 24]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/14927> (дата обращения: 18.01.2018).
10. *Малинова О. Ю.* Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России [Malinova O. Constructing Meanings: A Study of the Symbolic Politics in the Contemporary Russia]. М.: ИНИОН РАН, 2013.
 11. *Малинова О. Ю.* Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности [Malinova O. The Usable Past: The Symbolic Policy of the Incumbent Elite and Dilemmas of the Russian Identity]. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
 12. *Малинова О. Ю.* Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам [Malinova O. The official historical narrative as a part of identity policy of the Russian state: from the 1990s to the 2000s] // Полис. Политические исследования. 2016, № 6. С. 139–158.
 13. *Петров К. Е.* Доминирование концептуальной многозначности: «сильное государство» в российском политическом дискурсе [Domination of the Conceptual Ambivalence: the Concept of the “Strong State” in the Russian Political Discourse] // Полис. 2006. № 3. С. 159–183.
 14. *Путин В. В.* Послание Федеральному собранию Российской Федерации Putin [Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation] 2000. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21480> (дата обращения: 18.01.2018).
 15. *Путин В. В.* Послание Федеральному собранию Российской Федерации Putin [Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation] 2001. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation. April, 3. URL: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21216> (дата обращения: 18.01.2018).
 16. *Путин В. В.* Выступление на торжественном приеме по случаю Дня Конституции [Address at a gala reception on Constitution Day]. 2002. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24273> (дата обращения: 18.01.2018).
 17. *Путин В. В.* Послание Федеральному собранию Российской Федерации Putin [Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation] 2003. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21998> (дата обращения: 18.01.2018).
 18. *Путин В. В.* Послание Федеральному собранию Российской Федерации Putin [Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation] 2005. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931> (дата обращения: 18.01.2018).
 19. *Путин В. В.* Послание Федеральному собранию Российской Федерации Putin [Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation]

2006. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23577> (дата обращения: 18.01.2018).
20. *Berger T. U. Norms, Identity, and National Security in Germany and Japan // The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press, 1996. P. 317–356.*
 21. *Gray C. S. Comparative Strategic Culture // Parameters. 1984. N 1. P. 26–33.*
 22. *Herman R.G. Identity, Norms, and National Security: The Soviet Foreign Policy Revolution and the End of the Cold War // The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press, 1996. P. 271–316.*
 23. *Jones D. R. Soviet Strategic Culture // Strategic Power: USA/USSR. L.: St. Martin's Press, 1990. P. 35–49.*
 24. *Johnston A. I. Thinking about Strategic Culture // International Security. 1995. Vol. 19, N 4. P. 32–64.*
 25. *Irwin-Zarecka I. Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory. New Brunswick etc.: Transaction Publishers, 1994.*
 26. *Klein B.S. Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance Defense Politics // Review of International Studies. 1988. Vol. 14. № 2. P 133–148.*
 27. *Lapidus G. W. Between Assertiveness and Insecurity: Russian Elite Attitudes and the Russia-Georgia Crisis // Post-Soviet Affairs. 2007. Vol. 23. № 2. P. 138–155.*
 28. *Macmillan A. et al. Strategic Culture // Strategic Cultures in the Asia-Pacific Region. New York: St. Martin's Press 1999.: 3-26.*
 29. *Morgan F. E. Compellence and the Strategic Culture of Imperial Japan Implications for Coercive Diplomacy in the Twenty-First Century. Greenwood: Praeger Publishers, 2003.*
 30. *Neumann I. B., Heikka H. Grand Strategy, Strategic Culture, Practice. The Social Roots of Nordic Defence // Cooperation and Conflict 2005. Vol. 40. № 1. P. 5–23.*
 31. *Nitoiu C. Aspirations to Great Power Status: Russia's Path to Assertiveness in the International Arena under Putin // Political Studies Review. 2017. Vol. 15. № 1.*
 32. *Olick J. K. The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility. L., N.Y.: Routledge; Taylor & Francis Group, 2007.*
 33. *Putin, Vladimir. 2000. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation. July, 8. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480>*
 34. *Putin, Vladimir. 2001. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation. April, 3. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21216>.*
 35. *Putin, Vladimir. 2002. Address at a gala reception on Constitution Day. Dec., 12. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24273>.*
 36. *Putin, Vladimir. 2003. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation, May, 16. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21998>.*

37. Putin, Vladimir. 2005. Annual Address to the Federal Assembly of the Russian Federation, April, 25. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931>.
38. Putin, Vladimir. 2006. Annual Address to the Federal Assembly. May, 10. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23577>.
39. Sherlock T. Historical Narratives in the Soviet Union and Post-Soviet Russia: Destroying the Settled Past, Creating an Uncertain Future. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
40. Snyder J. L. Soviet strategic culture: Implication for Limited Nuclear Operations. 1977. Mode of access: <http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2154.pdf> (date of access: 30/09/15).
41. Steinmo S. Historical Institutionalism // Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 118-138.
42. Tsygankov A. Russia's International Assertiveness: What Does It Mean for the West? // Problems of Post-Communism. 2008. Vol. 55. N 2. P. 38–55.

STRATEGIC CULTURE AND FRAMES OF COLLECTIVE MEMORY (THE CASE OF POST-SOVIET RUSSIA)

O. Yu. Malinova

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
National Research University “Higher School of Economics”,
Chief Research Fellow, Institute of Scientific Information on Social Sciences,
Russian Academy of Sciences

History is usually considered both a factor in developing strategic culture and a source of empirical evidence about it. However, what actually shapes perceptions of security threats is not “history” as an objectivist analytic reconstruction of the collective past but some shared ideas about this past. The article proposes a theoretical frame for analyzing connections between history and strategic culture based on the concept of frames of collective remembrance, and tests it on the Russian case. It traces the connections between the transforming frames of remembrance of the experience of the USSR and Russia in the 1990s and the perceptions of security threats by the Russian elites.

Keywords: frame; framing; collective memory; strategic culture; security threats; political discourse; cold war.